

Простите вы, пернатые войска  
И гордые сражения, в которых  
Считается за доблесть честолюбье —  
Все, все прости! Прости, мой ржущий конь,  
И звук трубы, и грохот барабана,  
И флейты свист, и царственное знамя,  
Все почести, вся слава, все величье  
И бурные тревоги славных войн!  
Простите вы, смертельные орудья,  
Которых гул несется по земле.

*Вильям Шекспир.  
«Отелло, венецианский мавр», акт III*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ МАЙОР СВЕТЛОКОВ

### 1

Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопоча покрышками, по истерзанному асфальту — «виллис», король дорог, колесница нашей Победы. Хлопает на ветру закиданный грязью брезент, мечутся щетки по стеклу, размазывая полупрозрачные секторы, взвихренная слякоть летит за ним, как шлейф, и оседает с шипением.

Так мчится он под небом воюющей России, погромыхивающим непрерывно — громом ли надвигающейся грозы или дальнею канонадой, — свирепый маленький зверь, тупорылый и плосколобый, воющий от злой натуги одолеть пространство, пробиться к своей неведомой цели.

Подчас и для него целые версты пути оказываются непроезжими — из-за воронок, выбивших асфальт во всю ширину и налитых доверху темной жижей, — тогда он переваливает кювет наискось и жрет дорогу, рыча, срывая пласты глины вместе с травой, крутясь в разбитой колее; выбравшись с облегчением, опять набирает ход и бежит, бежит за горизонт, а позади остаются мокрые простреленные перелески с черными сучьями и ворохами опавшей листвы, обгорелые остовы машин, сваленных догнивать за обочиной, и печные трубы деревень и хуторов, испутившие последний свой дым два года назад.

Попадаются ему мосты — из наспех ошкуренных бревен, рядом с прежними, уронившими ржавые фермы в воду, — он бежит по этим бревнам, как по клавишам, подпрыгивая с лязгом, и еще колышется и скрипит настил, когда «виллиса» уже нет и следа, только синий выхлоп дотаивает над черной водою.

Попадаются ему шлагбаумы — и надолго задерживают его, но, обойдя уверенно колонну санитарных фургонов, расчистив себе путь требовательными сигналами, он пробирается к рельсам вплотную и первым прыгает на переезд, едва прогрехочет хвост эшелона.

Попадаются ему пробки — из встречных и поперечных потоков, скопища ревуших, отчаянно сигналиющих машин; изыабшие регули-

ровщицы, с мужественно-девичьими лицами и матерщиною на устах, расшивают эти пробки, тревожно поглядывая на небо и каждой приближающейся машине издали угрожая жезлом, — для «виллиса», однако ж, отыскивается проход, и потеснившиеся шоферы долго глядят ему вслед с недоумением и невнятной тоскою.

Вот он исчез на спуске, за вершиной холма, и затих — кажется, пал он там, развалился, загнанный до издыхания, — нет, вынырнул на подъеме, песню упрямства поет мотор, и нехотя ползет под колесо тягучая российская верста...

Что́ была Ставка Верховного главнокомандования — для водителя, уже закаменевшего на своем сиденье и смотревшего на дорогу тупо и пристально, помаргивая красными веками, а время от времени, с настойчивостью человека давно не спавшего, пытаясь раскурить прилипший к губе окурок. Верно, в самом этом слове — «Ставка» — слышалось ему и виделось нечто высокое и устойчивое, вознесшееся над всеми московскими крышами, как островерхий сказочный терем, а у подножья его — долгожданная стоянка, обнесенный стеною и уставленный машинами двор, наподобие постоянного, о котором он где-то слышал или прочел. Туда постоянно кто-нибудь прибывает, кого-нибудь провожают, и течет промеж шоферов нескончаемая беседа — не ниже тех бесед, что ведут их хозяева-генералы в сумрачных тихих палатах, за тяжелыми бархатными шторами, на восьмом этаже. Выше восьмого — прожив предыдущую свою жизнь на первом и единственном — водитель Сиротин не забирался воображением, но и пониже находится начальству не полагалось, надо же как минимум пол-Москвы наблюдать из окон.

И Сиротин был бы жестоко разочарован, если б узнал, что Ставка себя укрыла глубоко под землей, на станции метро «Кировская», и ее кабинетики разгорожены фанерными щитами, а в вагонах недвижимого поезда разместились буфеты и раздевалки. Это было бы совершенно несолидно, это бы выходило поглубже Гитлерова бункера; наша, советская Ставка так располагаться не могла, ведь германская-то и высмеивалась за этот «бункер». Да и не нагнал бы тот бункер такого трепету, с каким уходили в подъезд на полусогнутых ватных ногах генералы.

Вот тут, у подножья, куда поместил он себя со своим «виллисом», рассчитывал Сиротин узнать и о своей дальнейшей судьбе, которая могла слиться вновь с судьбою генерала, а могла и отдельным потечь руслом. Если хорошо растопырить уши, можно бы кой-чего у шоферов разведать — как вот разведал же он про этот путь

заранее, у коллеги из автороты штаба. Сойдясь для долгого перекура, в ожидании конца совещания, они поговорили сперва об отвлеченном — Сиротин, помнилось, высказал предположение, что, ежели на «виллис» поставить движок от восьмиместного «доджа», добрая будет машина, лучшего и желать не надо; коллега против этого не возражал, но заметил, что движок у «доджа» великоват и, пожалуй, под «виллисов» капот не влезет, придется специальный кожух наращивать, а это же горб, — и оба нашли согласно, что лучше оставить как есть. Отсюда их разговор склонился к переменам вообще — много ли от них пользы, — коллега себя и здесь заявил сторонником постоянства и, в этой как раз связи, намекнул Сиротину, что вот и у них в армии ожидаются перемены, буквально-таки на днях, неизвестно только, к лучшему оно или к худшему. Какие перемены *конкретно*, коллега не приоткрыл, сказал лишь, что окончательного решения еще нету, но по тому, как он голос принижал, можно было понять, что решение это придет даже не из штаба фронта, а откуда-то повыше; может, с такого высока, что им обоим туда и мыслью не добраться. «Хотя, — сказал вдруг коллега, — ты-то, может, и доберешься. Случаем Москву повидеешь — кланяйся». Выказать удивление — какая могла быть Москва в самый разгар наступления — Сиротину, шоферу командующего, амбиция не позволяла, он лишь кивнул важно, а втайне решил: ничего-то коллега толком не знает, слышал звон отдаленный, а может, сам же этот звон и родил. А вот вышло — не звон, вышло и вправду — Москва! На всякий случай Сиротин тогда же начал готовиться — смонтировал и поставил нееезженные покрышки, «родные», то есть американские, которые приберегал до Европы, приварил кронштейн для еще одной бензиновой канистры, даже и этот брезент натянул, который обычно ни при какой погоде не брали, — генерал его не любил: «Душно под ним, — говорил, — как в собачьей будке, и рассредоточиться по-быстрому не дает», то есть через борта повыскакивать при обстреле или бомбежке. Словом, не так уж вышло неожиданно, когда скомандовал генерал: «Запрягай, Сиротин, пообедаем — и в Москву».

Москвы Сиротин не видел ни разу, и ему и радостно было, что внезапно сбывались давнишние, еще довоенные, планы, и беспокойно за генерала, вдруг почему-то отозванного в Ставку, не говоря уже — за себя самого: кого еще придется возить, и не лучше ли на полуторку попроситься, хлопот столько же, а шансов живым остаться, пожалуй что, и побольше, все же кабинка крытая, не всякий осколок пробьет. И было еще чувство — странного облегчения, даже можно сказать, избавления, в чем и себе самому признаться не хотелось.

Он был не первым у генерала, до него уже двое мучеников сменилось — если считать от Воронежа, а именно оттуда и начиналась история армии; до этого, по мнению Сиротина, ни армии не было, ни истории, а сплошной мрак и бестолочь. Так вот, от Воронежа — самого генерала и не поцарапало, зато *под ним*, как в армии говорилось, *убило* два «виллиса», оба раза с водителями, а один раз и с адъютантом. Вот о чем и ходила стойкая легенда: что «самого» не берет, он как бы *заговоренный*, и это как раз и подтверждалось тем, что гибли рядом с ним, буквально в двух шагах. Правда, когда рассказывались подробности, выходило немного иначе: «виллисы» эти *убило* не совсем *под ним*. В первый раз — при прямом попадании дальнебойного фугаса — генерал еще не сел в машину, призадержался на минутку на КП<sup>1</sup> командира дивизии и вышел уже к готовой каше. А во второй раз — когда подорвались на противотанковой mine — он уже не сидел, вылез пройтись по дороге, понаблюдать, как замаскировались перед наступлением самоходки, а водителю велел отъехать куда-нибудь с открытого места; а тот возьми и сверни в рощу. Между тем дорога-то была разминирована, а рощу саперы обошли, по ней движение не планировалось... Но какая разница, думал Сиротин, упредил генерал свою гибель или опоздал к ней, в этом и была его заговоренность, да только на его сопровождавших она не распространялась, она лишь с толку сбивала их, она-то и была, если вдуматься, причиной их гибели. Уже подсчитали знатоки, что на каждого убитого в эту войну придется до десяти тонн истраченного металла, Сиротин же и без их подсчетов знал, как трудно убить человека на фронте. Только бы месяца три продержаться, научиться не слушаться ни пуль, ни осколков, а слушать себя, свой озноб безотчетный, который чем безотчетнее, тем верней тебе нашепчет, откуда лучше бы загодя ноги унести, иной раз из самого вроде безопасного блиндажа, из-под семи накатов, да в какой-нито канавке перележать, за ничтожной кочкой, — а блиндаж-то и разнесет по бревнышку, а кочка-то и укроет! Он знал, что спасительное это чувство как бы гаснет без тренировки, если хотя б неделю не побываешь на передовой, но этот генерал передовую не то чтобы сильно обожал, однако и не брезговал ею, так что предшественники Сиротина не могли по ней слишком соскучиться, — значит, по собственной дурусти погибли, себя не послушались!

С миной — ну это смешно было. Стал бы он, Сиротин, съезжать в эту рощницу, под сень берез? Да хрена с два, хоть перед каждым

<sup>1</sup> Командный пункт. — *Здесь и далее примечания автора.*

кустом ему воткни: «Проверено, мин нет», — кто проверял, для того и нет, он свои ноги унес уже, а на твою долю, будь уверен, хоть одну «пэтээмку»<sup>1</sup> оставил в спешке; да хотя б он всю рощу пузом подмел — известное же дело, раз в год и незаряженная винтовка стреляет! Вот со снарядом было сложнее — на мину ты сам напоролся, а этот тебя выбрал, именно тебя. Кто-то неведомый прочертил ему поднебесный путь, дуновением ветерка подправил ошибку, отнес на две, на три тысячных вправо или влево, и за какие-нибудь секунды — как почувствуешь, что твой единственный, родимый, судьбой предназначенный, уже покинул ствол и спешит к тебе, посвистывая, пожужживая, да ты-то его свиста не услышишь, другие услышат — и сдуру ему поклоняются. Однако зачем же было ждать, не укрыться, когда что-то же задержало генерала на том КП? Да то самое, безотчетное, и задержало, вот что надо было почувствовать! В своих размышлениях Сиротин неизменно ощущал превосходство над обоими предшественниками — но, может статься, всего лишь извечное сомнительное превосходство живого над мертвым? — и такая мысль тоже его посещала. В том-то и дело, что закаяно его чувствовать, оно еще хуже сбивает с толку, прогоняя спасительный озноб; наука выживания требовала: всегда смирайся, не уставай просить, чтоб тебя миновало, — тогда, быть может, и пронесет мимо. А главное... главное — тот же озноб ему шептал: с этим генералом он войну не вытянет. Какие причины? Да если назвать их можно, то какая же безотчетность... Где-нибудь оно произойдет и когда-нибудь, но произойдет непременно — вот что над ним всегда висело, отчего бывал он часто уныл и мрачен; лишь искушенный взгляд распознал бы за его лихостью, за отчаянно-бравым, франтоватым видом — скрываемое предчувствие. Где-то веревочке конец, говорил он себе, что-то долго она вьется и слишком счастливо, — и уж он мечтал отделаться ранением, а после госпиталя попасть к другому генералу, не такому заговоренному.

Вот, собственно, о каких своих опасениях — ни о чем другом — поведал водитель Сиротин майору Светлоокову из армейской контрразведки Смерш, когда тот его пригласил на собеседование, или — как говорилось у него — «кое о чем посплетничать». «Только вот что, — сказал он Сиротину, — в отделе у меня не поговоришь, вломятся с какой-нибудь хреновиной, лучше — в другом каком месте. И пока — никому ни слова, потому что... мало ли что. Ладненько?» Свидание их состоялось в недалеком от штаба леске, на опушке, там они

<sup>1</sup> ПТМ, противотанковая мина.

сошлись в назначенный час, майор Светлооков сел на поваленную сосну и, сняв фуражку, подставил осеннему солнышку крутой выпуклый лоб с красной полоскою от околыша, — чем как бы снял и свою начальственность, расположив к откровенной беседе, — Сиротина же пригласил усесться пониже, на травке.

— Давай выкладывай, — сказал он, — что тебя точит, о чем кручина у молодца? Я же вижу, от меня же не укроется...

Нехорошо было, что Сиротин рассказывал о таких вещах, которые наука выживания велит держать при себе, но майор Светлооков его тут же понял и посочувствовал.

— Ничего, ничего, — сказал он без улыбки, тряхнув энергично своими льняными прядями, забрасывая их подальше назад, — это мы понимать умеем, всю эту мистику. Все суеверия подвержены, не ты один, командующий наш — тоже. И скажу тебе по секрету: не такой он заговоренный. Он про это вспоминать не любит и нашивок за ранения не носит, а было у него по дурости в сорок первом, под Солнечногорском. Хорошо отоварился — восемь пуль в живот. А ты и не знал? И ординарец не рассказывал? Который, между прочим, при сем присутствовал. Я думал, у вас все нараспашку... Ну, наверно, запретил ему Фотий Иванович рассказывать. И мы тоже про это не будем сплетничать, верно?.. Слушай-ка, — он вдруг покосился на Сиротина веселым и пронзающим взглядом, — а может, ты мне тово... дурочку валяешь? А главное про Фотия Иваныча не говоришь, утаиваешь?

— Чего мне утаивать?

— Странностей за ним не наблюдаешь в последнее время? Учти, кой-кто уже замечает. А ты — ничего?

Сиротин подернул плечом, что могло значить и «не замечал», и «не моего ума дело», однако неясную еще опасность, касающуюся генерала, он уловил, и первым его внутренним движением было отстраниться, хотя б на миг, чтоб только понять, что могло грозить ему самому. Майор Светлооков смотрел на него пристально, взгляд его голубых пронзительных глаз нелегко было выдержать. Похоже, он разгадал смятение Сиротина и этим строгим взглядом возвращал его на место, которого обязан был держаться человек, состоящий в свите командующего, — место преданного слуги, верящего хозяину беспредельно.

— Сомнения, подозрения, всякие мерихлюндии ты мне не выкладывай, — сказал майор твердо. — Только факты. Есть они — ты обязан сигнализировать. Командующий — большой человек, заслуженный, ценный, тем более мы обязаны все наши малые силы на-

прячь, поддержать его, если в чем-то он пошатнулся. Может, устал он. Может, ему сейчас особое душевное внимание требуется. Он ведь с просьбой не обратится, а мы не заметим, упустим момент, потом локти будем кусать. Мы ведь за каждого человека в армии отвечаем, а уж за командующего — что и говорить...

Кто были «мы», отвечающие за каждого человека в армии, он ли с майором или же весь армейский Смерш, в глазах которого генерал в чем-то «пошатнулся», этого Сиротин не понял, а спросить почему-то не решался. Ему вспомнилось вдруг, что и дружок из автотроты штаба тоже эти слова обронил: «пошатнулся малость», — так он, стало быть, не звон отдаленный слышал, а прямо-таки гудение земли. Похоже, генеральское пошатновение, хоть ничем еще не проявленное, уже и не новостью было для некоторых, и вот из-за чего и вызвал его к себе майор Светлооков. Разговор их становился все более затягивающим куда-то, во что-то неприятное, и смутно подумалось, что он, Сиротин, уже совершил малый шаг к предательству, согласившись прийти сюда «посплетничать».

Из глубины леса тянуло предвечерней влажной прохладой, и с нею вкрадчиво сливался вездесущий приторный смрад. Чертовы похоронщики, подумал Сиротин, своих-то подбирают, а немцев — им лень, придется генералу доложить, даст он им прикурить. Неохота было свежих подобрать — теперь носы затыкайте...

— Ты мне вот что скажи, — спросил майор Светлооков, — как он, по-твоему, к смерти относится?

Сиротин поднял к нему удивленный взгляд:

— Как все мы, грешные...

— Не знаешь, — сказал майор строго. — Я вот почему спрашиваю. Сейчас предельно остро ставится вопрос о сохранении командных кадров. Специальное указание Ставки есть, и Верховный подчеркивал неоднократно, чтоб командующие себя не подвергали риску. Слава богу, не сорок первый год, научились реки форсировать, личное присутствие командующего на переправе — ни к чему. Зачем ему было под обстрелом на пароме переправляться? Может, сознательно себя не бережет? С отчаяния какого-нибудь, со страху, что не справится с операцией? А может, и тово... ну, свих небольшой? Оно и понятно до некоторой степени — операция оч-чень все-таки сложная!..

Пожалуй, Сиротину не показалось бы, что операция была других сложнее, и развивалась она как будто нормально, однако там, наверху, откуда к нему снисходил майор Светлооков, могли быть иные соображения.



— Может быть, единичный случай? — размышлял между тем майор. — Так нет же, последовательность какая-то усматривается. Командующий армией свой КП выносит поперед дивизионных, а комдиву что остается? Еще поближе к немцу придвинуться? А полковому — прямо-таки в зубы противнику лезть? Так и будем друг перед дружкой личную храбрость доказывать? Или еще пример: ездите на передовую без охраны, без бронетранспортера, даже радиста с собой не берете. А вот так и нарываються на засаду, вот так и к немцу заскакивают. Иди потом выясняй, доказывай, что не имело места предательство, а просто по ошибке... Это же все предвидеть надо. И предупреждать. И нам с тобой — в первую очередь.

— Что ж от меня-то зависит? — спросил Сиротин с облегчением. Предмет собеседования стал ему наконец понятен и сходиллся с его собственными опасениями. — Шофер же маршрут не выбирает...

— Еще б ты командующему указывал!.. Но знать заранее — это в твоей компетенции, верно? Говорит же тебе Фотий Иваныч минут за десять: «Запрягай, Сиротин, в сто шестнадцатую подскочим». Так?

Сиротин подивился такой осведомленности, но возразил:

— Не всегда. Другой раз в машину сядет и уж тогда путь говорит.

— Тоже верно. Но он же не в одно место едет, за день в трех-четырёх хозяйствах побываете: где полчаса, а где и все два. Можешь же ты у него спросить: а куда потом, хватит ли горючего. Вот у тебя и возможность созвониться.

— С кем это... созвониться?

— Со мной, «с кем». Мы наблюдение организуем, с тем хозяйством свяжемся, куда вы в данный момент путь держите, чтоб выслали встречу. Я понимаю, командующему иной раз хочется нахрапом подъехать, застать все как есть. Так это одно другому не мешает. У нас — своя линия и своя задача. Комдив того знать не будет, когда Фотий Иваныч нагрянет, лишь бы мы знали.

— А я-то думал, — сказал Сиротин, усмехаясь, — вы шпионами занимаетесь.

— Мы всем занимаемся. Но сейчас главное, чтоб ни на минуту командующий из-под опеки не выпадал. Это ты мне обещаешь?

Сиротин усиленно морщил лоб, выгадывая время. Как будто ничего плохого не было, если всякий раз, куда бы ни направились они с генералом, об этом будет известно майору Светлоокову. Но как-то коробило, что ведь придется ему сообщать скрытно от генерала.

— Это как же так? — спросил Сиротин. — От Фотия Иваныча тайком?

— У-у! — прогудел майор насмешливо. — Кило презрения у тебя к этому слову. Именно тайком, негласно. Зачем же командующего в это посвящать, беспокоить?

— Не знаю, — сказал Сиротин, — как это так можно...

Майор Светлооков вздохнул долгим печальным вздохом:

— И я не знаю. А нужно. А приходится. Так что же нам делать? Раньше вот в армии институт комиссаров был — куда как просто! Чего я от тебя уже час добиваюсь, комиссар бы мне не думая пообещал. А как иначе? Комиссар и контрразведчик — первые друг другу помощники. Теперь — больше доверия военачальнику, а работать стало куда сложнее. К члену Военного совета не подкатись, он тоже теперь «товарищ генерал», ему это звание дороже комиссарского, станет он такой «чепухой» заниматься! Ну а мы, скромные людишки, обязаны заниматься, притом — тихой сапой. Да уж, Верховный нам осложнил задачу. Но — не снял ее!

Эта печаль и озабоченность в голосе майора, и его откровенность, да и бремя задачи, исходившей не от кого-нибудь, от Верховного, — все складывалось так, что Сиротину как будто уже и не во что было упираться.

— Звонить, ведь оно, знаете... У связиста линия занята. А когда и свободна, тоже так просто не соединит. Ему и сообщить же надо, куда звонишь. Так до Фотия Иваныча дойдет. Нет, это...

— Что «нет»? — Майор Светлооков приблизил к нему лицо. Он враз повеселел от такой наивности Сиротина. — Ну, чудак же ты! Неужели так и попросишь: «А соедини-ка меня с майором Светлооковым из Смерша?» Не-ет, так мы все дело провалим. Но можно же по холостой части. В смысле — по бабьей. Эта линия всегда выручит. Ты Калмыкову из трибунала знаешь? Старшую машинистку.

Сиротину вспомнилось нечто рыхлое, чересчур грудастое и, на его двадцатипятилетний взгляд, сильно пожилое, с непреклонно начальственным лицом, с тонко поджатыми губами, властно покрикивающее на двух подчиненных барышень.

— Что, не объект для страсти? — Майор улыбнулся быстро порозовевшим лицом. — Вообще-то, на нее охотники имеются. Даже хвалят. Что поделаешь, любовь зла! К тому же у нас не женский монастырь. Вот в Европу вступим — не в этот год, так в следующий, — там такие монастыри имеются, специально женские. Точней сказать, девичьи. Потому как монашки эти, кармелитки называются, клятву

насчет девственности дают — до гроба. Во какая жертва! Так что невинность гарантируется. Бери любую — не ошибешься.

Сверхсуровые эти кармелитки, в сиротинском воображении соотнесясь почему-то с карамельками, выглядели куда как маняще и сладостно. Что же до той, грудастой, все-таки не представилось ему, как бы он стал приударять за ней или хотя бы трепаться по телефону.

— Зер гут, — согласился майор. — Избираем другой вариант. Как тебе — Зочка? Не та, не из трибунала, а которая в штабе телефонисткой. С кудряшками.

Вот эти пепельные кудряшки, свисавшие из-под пилотки спиральками на выпуклый фаянсовый лобик, и взгляд изумленный — маленьких, но таких ярких, блестящих глаз, — и ловко пригнанная гимнастерка, расстегнутая на одну пуговку, никогда не на две, чтоб не нарваться на замечание, и хромовые, пошитые на заказ сапожки, и маникюр на тонких пальчиках — все было куда поближе к желаемому.

— Зочка? — усомнился Сиротин. — Так она же вроде с этим... из оперативного отдела. Чуть не жена ему?

— У этого «чуть» одно тайное препятствие имеется — супруга законная в Барнауле. Которая уже письмами политотдел бомбит. И двое отпрысков нежных. Тут придется какие-то меры принимать... Так что Зочка не отпадает, советую заняться. Подкатись к ней, наведи переправы. И — звони ей откуда только можно. Что, тебя связист не соединит? Шофера командующего? Дело ж понятное, можно сказать — неотложное. Ты только — понахальнее, место свое в армии нужно знать. В общем, ты ей: «Трали-вали, как вы спали?» — и, между прочим, так примерно: «К сожалению, времени в обрез, через часик ждите, от Иванова звякну». Много болтают по связи, одним трепом больше... Ну, и это не обязательно, мы в дальнейшем шифр установим, на каждое хозяйство свой пароль. Что тебе еще неясно?

— Да как-то оно...

— Что «как-то»? Что?! — вскричал майор сердито. И Сиротину не показалось странным, что майор уже вправе и осерчать на него за непонятливость, даже отчитать гневно. — Для себя я, по-твоему, стараюсь? Для сохранения жизни командующего! И твоей, между прочим, жизни. Или ты тоже смерти ищешь?!

И он в сердцах, со свистом, хлестнул себя по сапогу невесть откуда взявшимся прутиком — звук как будто ничтожный, но заста-

вивший Сиротина внутренне съежиться и ощутить холодок внизу живота, тот унылый мучительный холодок, что появляется при свисте снаряда, покинувшего ствол, и его шлепке в болотное месиво — звуках самых первых и самых страшных, потому что и грохот лопающейся стали, и фонтанный всплеск вздымающейся трясины, и треск ветвей, срезанных осколками, уже ничем тебе не грозят, уже тебя миновало. Этот дотошный, прилипчивый, всепроникающий майор Светлооков углядел то, что сидело в Сиротине и не давало жить, но он же углядел и большее: что с генералом и впрямь происходит что-то опасное, гибельное — и для него самого, и для окружающих его. Когда, стоя во весь рост на пароме в заметной своей черной кожанке, он так картинно себя подставлял под пули с правого берега, под пули пикирующего «юнкерса», это не бравада была, не «пример личной храбрости», а то самое, что время от времени постигало иных и называлось — человек ищет смерти.

Вовсе не в отчаянном положении, не в кольце охвата, не под дулами заградотряда, но часто в успешном наступлении, в атаке человек делал бессмысленное, непостижимое: бросался врукопашную один против пятерых, или, встав во весь рост, бросал одну за другой гранаты под движущийся на него танк, или, подбежав к пулеметной амбразуре, лопаткой рубил прыгающий ствол — и почти всегда погибал. Опытный солдат, он отметал все шансы уклониться, выждать, как-нибудь исхитриться. Было ли это в помешательстве, в ослепляющем запале, или так источил ему душу многодневный страх, но слышали те, кто оказывались поблизости, его крик, вмещавший и муку, и злобное торжество, и как бы освобождение... А накануне — как припоминали потом, а может быть, просто выдумывали — бывал этот человек неразговорчив и хмур, жил как-то невпопад, озирался непонятным, в себя упрятым взглядом, точно уже провидел завтрашнее. Сиротин этих людей не мог постичь, но то, что их повлекло умереть так поспешно, было, в конце концов, их дело, они за собой никого не звали, не тащили, а генерал и звал, и тащил. Чего ему, спрашивается, не сиделось в скорлупе бронетранспортера, который был же рядом на пароме? И не подумалось ему, что так же картинно под те же пули подставляли себя и люди, обязанные находиться при нем неотлучно? Но вот нашелся же один, кто все понял, разглядел зорким глазом генеральские игры со смертью и пресечет их своим вмешательством. Как это ему удастся, ну вот хотя бы как отведет он в небо шальной снаряд, почему-то Сиротина не озадачивало, как-то само собою разумелось, хотелось лишь всячески облегчить

задачу этому озабоченному всесильному майору, рассказать поподробнее о странностях генеральского поведения, чтобы учел в каких-то своих расчетах.

Майор его слушал, не перебивая, понимающе кивал, иной раз вздыхал или цокал языком, затем далеко отшвырнул свой прутик и передвинул на колени планшетку. Развернув ее, стал разглядывать какой-то листок, упрятанный под желтым целлулоидом.

— Так, — сказал он, — на этом покамест закруглимся. На-ка вот, распишись мне тут.

— Насчет чего? — споткнулся разлетевшийся Сиротин.

— Насчет неразглашения. Разговор у нас, как ты понимаешь, не для любых ушей.

— Так... зачем же? Я разглашать не собираюсь.

— Тем более, чего ж не расписаться? Давай, не ломайся.

Сиротин, уже взяв карандашик, увидел, что расписаться ему следует в самом низу листка, исписанного витиеватым изящным почерком, наклоненным влево.

— Тезисы, — пояснил майор. — Это я схему набросал, как у нас примерно пойдет беседа. Видишь — сошлось, в общем и целом.

Сиротина удивило это, но отчасти и успокоило. В конце концов, не сообщил он этому майору ничего такого, чего тот не знал заранее. И он расписался нетвердыми пальцами.

— И всего делов. — Майор, усмехаясь Сиротину, застегнул аккуратно планшетку, откинул ее за спину и встал. — А ты, дурочка, боялась. Пригладь юбку, пошли.

Он вышагивал впереди, крепко переступая налитыми, обтянутыми мягким хромом ногами балетного танцовщика, планшетка и пистолет елозили и подпрыгивали на его крутых ягодицах, и у Сиротина было то ощущение, что у девицы, возвращающейся из лесу вслед за остывшим уже соблазнителем и которая тем пытается умерить уязвление души, что сопротивлялась как могла.

— А кстати, — майор вдруг обернулся, и Сиротин едва не налетел на него, — раз уже нас на эти темы клонит... Может, ты мне сон объяснишь? Умеешь сны отгадывать? Значит, прижал я хорошего бабца в подходящей обстановке. В уши ей заливаю — про сирень там, про Пушкина, Лермонтова, а под юбкой шурую — вежливо, но неотвратимо, с честными намерениями. И все, ты понимаешь, чин-ненько, вот-вот до дела дойдет. Как вдруг — ты представляешь? — чувствую: мужик! Мать честная, с мужиком это я обжимался, чуть боекомплект не растратил. Что скажешь? В холодном поту просыпаюсь. И к чему бы это?

Сиротин, ошарашенный, распяливал лицо глупой и жаркой ухмылкой. Майор смотрел на него, вылупив простодушно голубые свои глаза и полуоткрыв рот. Не дождавшись ответа, он двинулся дальше, сам себе отвечая:

— А я так думаю — пора эту войну кончать. Скорей по домам — своих баб щупать. А то, наблюдаю, у всех уже шарики за кубики заходят.

Там, где тропинка впадала в просеку и где могли бы их увидеть вместе, он снова остановился:

— Ну, тебе направо, мне налево. Вот что я тебе скажу, Сиротин. Ты это, о чем мы условились, не рассматривай, как будто тебя употребили. У меня ведь в желающих сотрудничать недостатка нет. Так что я это тебе доверил как честь. Вижу, тебя коробит что-то. Понимаю. Но ничего, привыкнешь. Ты все обдумай как следует, прикинь, план себе наметь, как будешь со мной работать. И приступай. Покеда!

Приступить Сиротину, однако ж, не выпало повода. Не пришлось никуда ездить с генералом — в последние дни тот сиднем засел в своем убежище, которое выбрал сразу после переправы, отдельно от штаба армии, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, и к нему туда подъезжали с докладами и из штаба, и с левого берега, и со всего плацдарма, теперь до того разросшегося, что его все реже называли плацдармом. Сиротин же только дежурил у «виллиса», и постепенно то мутное, гадливое ощущение, что испытал он в леске, рассеивалось, сменяясь избавительной надеждой, что надобность в нем у майора Светлоокова, может стать, уже и отпала.

Оно явилось опять, это ощущение, когда майор Светлооков, проходя по каким-то своим делам к генералу, призадержался возле Сиротина и, ткнув его легонько пониже груди своей планшеткой, весело пожурил:

— Ты что ж это мне девку изводишь? Жалуется мне на тебя.

— Какую девку?

— «Какую»! Зочку. Охмурил, а не звонишь. Столько, говорит, я в него души вложила, а он прохиндеем оказался.

— Так ведь... об чем говорить пока?

— Вот, еще научи его, о чем с прекрасным полом беседуют. Ты позвони, а там видно будет. Позвони, позвони, не стесняйся.

И прошел, весело оглядываясь на оторопевшего Сиротина, заговорицки подмигивая.

Два дня Сиротин собирался с силами и все же позвонил, позвонил этой Зочке, с которой до этого едва ли десятком слов переки-

нулся, и теперь не мог вспомнить без жгучего стыда, от которого влажно делалось лицу, свой голос, то жидкий, то деревянный, свои косноязычные упреки этой Зюечке, что вот, мол, бывают некоторые, которые своих знакомых забывают, зазнались, а Зюечка-то и не зазналась ничуть, Зюечка его моментально узнала, и этого звонка очень даже ждала, и на каждый его попрек отвечала таким щебетом, что у него в ушах звенело. Едва сведя разговор к концу, он лишь потом сообразил, не без натуги, что она ведь ему и свидание назначила, предложила хоть сегодня уллучить минутку и заглянуть.

Он шел к ней робея и с чувством вины, как идут к начальству на выволочку. Зюечка и начала с выговора: завидя его из окна телефонного узла, из автобуса, к которому сходились с разных сторон провода, подвешенные на шестах и ветках, она выпорхнула к Сиротину и заговорила сердитым полупшепотом, хотя и с улыбающимся лицом:

— Ты что ж это делаешь, недотепа! Сначала приходят, а уж потом звонят. А ты все наоборот. Ни с того ни с сего: «Позовите мне Зюечку». Какая я тебе Зюечка, если нас вместе не видели? Вот тебе — первый прокол!

— Так мне ж так майор сказал, — стал оправдываться Сиротин.

— Тише ты, дурень. Так, да не так, — прошипела Зюечка, но тут же, однако, смягчилась. — Пройдемся, чтоб нас увидели.

Они сперва покружились по опушке, в пятнистой тени маскировочных сетей, дабы Зюечкины подружки-телефонистки, поглядывавшие из автобуса, могли себе уяснить характер их отношений. Из другого автобуса, где трещали пишущие машинки и сочинялась армейская газета, тоже на них поглядывали. Сиротин не находил, что сказать, Зюечка тоже не говорила, а только обращала к нему снизу вверх улыбающееся лицо. Со стороны показалось бы, что они от неожиданности встречи и нахлынувшего чувства просто не находят слов.

— Ну что, так и будем по одному месту кружить? — сказала Зюечка. — Хоть бы увлек меня куда-нибудь.

— Куда? — спросил Сиротин. И даже вспотел от своей глупости.

— Закудакал! С девушками не знаешь, как обращаться? Можешь меня взять за плечо. Господи, не за погон, а за плечо!

Рука Сиротина, и без того не чересчур чистая, сразу взмокла. По Зюечкиному фаянсовому личику промелькнула брезгливая гримаска.

— Ты хоть не тискай...

— Так чо, убрать? — спросил он так же глупо.

Она лишь сердито дернула плечиком. Несколько погода взяла его руку и обвила вокруг своей талии.

— Перемещать надо время от времени, а то, глядишь, приклеится. Только это надо делать украдкой, тогда похоже на правду. — Еще погода, сбросила его руку совсем. — А вот теперь у нас другое настроение. Просто смотри себе под ноги задумчиво и молчи.

В этот ясный предосенний день их могли видеть в разных местах среди редколесья, где новый плацдарм успел утвердить свою бивачную жизнь, прихватив себе то пространство, что зовется *вторым эшелом*. Видели из столовой Военного совета, расположившейся в огромной палатке с завернутыми полами, где стоял общий длинный стол и рядом, под своим навесом, дымила походная кухня на дутиках; повар, в белой куртке и колпаке, и обедавшие офицеры-штабисты провожали влюбленную пару усмешливыми взглядами. Зочка, мечтательно улыбаясь, склоняла голову к плечу Сиротина и покусывала травинку, порой щекотала его этой травинкой по щеке.

Зенитчики, полеживавшие на травке возле своих счетверенных пулеметов, белыми животами к солнышку, тоже их видели — они хоть и накрыли глаза пилотками, но головы поворачивали вслед, все трое одновременно.

Могли их видеть возле танковых мастерских, где чинились под маскировочным пятнистым тентом две пригнанные из боя «тридцатьчетверки»; ремонтники, в черных промасленных комбинезонах, обстукивали кувалдами разрывы брони, пригоняли заплаты, приваривали их шипучей дугой от передвижного генератора; один, повязав тряпкой рот и нос, счищал надетой на палку скоблilкой с почерневшей башни комки прикипевшего горелого мяса.

Видели около медсанбата, нескольких таких же огромных палаток, но далеко не вместивших всех пациентов; койки и носилки плотными рядами стояли снаружи, под шумящими кронами; санитарки, делая спешные перевязки и уколы, привычно-ласково уговаривали стонущих потерпеть немного, и, невольно впадая в их тон, такими же причитаниями, почти бабьими голосами, разговаривали санитары-мужчины. У входа в крайнюю палатку, прислонясь к трубчатой опоре и зажав под мышкой желтые резиновые перчатки, торопливо-жадно курила врачаха в клеенчатом мясничком фартуке, заляпанном ржавыми потеками, порою оборачивалась внутрь палатки и хриплым осевшим голосом отдавала распоряжения, а порой по измученному ее лицу пробегала улыбка — когда она смотрела, как двое легкораненых, уже выздоравливающих, помогая один другому,



осваивали тяжелый немецкий велосипед. Время от времени выносили в оцинкованных тазах и выплескивали здесь же, в бомбовую воронку, красную жидкость с комьями размокшей ваты. Шагах в десяти, присев на корточки, в такой же таз доил корову седой рыжеусый солдат в белесой заплатанной гимнастерке.

Кровавая и костоломная работа передовой шла безостановочно — то и дело подъезжали наполненные своим стонущим, слабо шевелящимся грузом телеги, бортовые машины и фургоны. И запахи смерти и страдания смешивались в чистом воздухе с запахами кухни, еды — от этого делалось особенно тяжело, тошнотно. Поморщась, Зюечка предложила:

— Ну все, программу выполнили. Можем теперь удалиться куда-нибудь в тихое местечко. Мне надо кой-чего дополнительно тебе сказать.

Так они пришли к той поваленной сосне, и Зюечка, усевшись на нее, сбросила наконец ей самой уже надоевшую улыбку и аккуратно обтянула юбкой круглые коленки. Он подумал, что она здесь не раз уже побывала с майором Светлооковым, перед которым, наверное, не так уж прикрывала скрещенье ног.

— А ты... давно с ним? — глухо, пересыхающим ртом, спросил Сиротин.

— Что — «с ним»? — Зюечка поглядела на него поверх носа, отчего ее лицо сделалось надменным. — Живу, что ли?

— Работашь, — смущенно поправился Сиротин.

— Надо ясно выражаться. Ты что думаешь — тут все вместе может быть? О нет! Работать и спать — две вещи несовместимые.

— Это почему ж так? — Он искренне удивился.

— А потому. Фиктивных романов не бывает. Кто-нибудь обязательно по правде влюбится, и это всю конспирацию нарушит. У нас с ним характер работы такой, что этого — не нужно. С тобой — характер другой. Но мы же ни к чему такому, в общем, не стремимся, правда? Меня твоя личная жизнь не касается, а тебя — моя.

— Тем более что у тебя другой есть. Покуда жена далече. В Барнауле, — съязвил Сиротин, сам немного уязвленный.

Тот, о ком он говорил, был едва не всей армии известный майор Батлук из оперативного отдела штаба, живописный полнеющий красавец-брюнет, любитель поесть и попить, а также попеть украинские песни — голосом ненатуральным, зато чрезвычайно громким.

— Ах этот... — сказала Зюечка небрежно, однако матово-белые ее щеки стали медленно розоветь. — Это была ошибка. То есть, в общем... это тоже была работа. Его одно время подозревали.

— В чем? — Сиротин опять подивился: в чем уж таком могли подозревать майора Батлука. Разве что в уклонении от алиментов трем семьям.

— В ротозействе. Показалось, что есть утечка оперативных данных. Но выяснилось, что это ошибка. Во всех смыслах ошибка, — добавила Зочка со значением и загадочно помолчала, и Сиротину показалось, что эти мгновения она все же посвятила воспоминанию о своем певучем майоре. — Я смотрю, ты все знаешь. Ну, в общем, я им действительно увлеклась. Мужчина что надо. Только самомнения много. На наш роман смотрел как на временный. Ну, может быть, так и надо смотреть. Потому что в Европе все равно все переменится.

— Как это?

— А так, очень просто. Это здесь мы у вас считанные, боевые подруги. А там вы себе баб найдете каких угодно и сколько угодно. И не только офицеры, а последние обозники. Даже кто из себя ничего не представляет, ноль без палочки, у него ведь оружие, кто ж устоит. В общем, как майор говорит, Светлооков: «Спешите жить, девочки, надвигается на вас девальвация». Ладно, закруглимся. На первом плане должно быть дело. А романы — побоку.

Ему тоже — наверное, впервые в жизни, — говоря с женщиной, молодой и не совсем ему безразличной, захотелось перевести разговор на другое.

— И что тебя потянуло... к этой работе? — спросил он угрюмо.

— А что? — Она улыбнулась мечтательно. — Скажешь, тут нечем увлечься? Хотя бы сознание, что можешь большие дела делать, столько пользы принести... Ты об этом не думал?

— Я думал, каждый, куда его поставили, пускай свое делает как следует. И того с головой хватит.

— Ну а мне этого мало. Что я такое? Телефонистка. Приложение к коммутатору. Ты тоже приложение — к «виллису». А майор мне такие перспективы открыл, что голова кружится, честное слово. Ты даже не представляешь, сколько в наших рядах скрытых врагов, как люди в большинстве настроены. Кто неправильно, а кто и враждебно. Иногда и высокие люди, с такими званиями, и орденов полно. Пока что они воюют, исполняют свой долг, и мы сейчас не можем ими заниматься вплотную. Еще не время. Пока что нужно о каждом узнать побольше. И с каждым работать — терпеливо, упорно и в то же время беспощадно.

— Он мне совсем другое говорил, — сказал Сиротин растерянно.

— Что же ты хочешь, чтоб тебя сразу во все тонкости посвятили? Я вот уже три месяца с ним... работаю, а он мне только краешек приоткрыл. Но и краешек — это ого как много! Просто у меня к этой работе сразу вкус проявился. Он говорит, что я даже, может быть, будущая Мата Хари. Такая была всемирная разведчица. Ну а у тебя, значит, пока что вкуса не обнаружилось.

Явное и пугающее ощущение, что его уже втянули куда-то, откуда не так просто выбраться, отрезвило его.

— При чем тут вкус? — сказал он, нахмурясь. — Мы с ним совсем о другом говорили. Позаботиться, чтоб командующий себя риску не подвергал...

Зюечка поглядела на него искоса и насмешливо, но быстро ее лицо сделалось серьезным.

— Ну кто ж спорит, чудак. Это такая задача, что по сравнению с ней все остальное чепуха, суета сует. Но мы же для этого и встретились.

Он уловил в ее голосе разочарование. Как будто она совсем другого ждала от этого свидания.

Ей стало откровенно скучно с ним. Разбросав руки по стволу и приподняв плечики, так что на них изогнулись погоны, и вытянув скрещенные ноги в хромовых сапожках и нитяных, телесного цвета чулках, она вертела головой, поглядывая вверх, провожала глазами летящие ключья паутины и напевала вполголоса:

Дует теплый ветер, развезло дороги,  
И на Южном фронте оттепель опять.  
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.  
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...

...Она не знала, как права была. Через много лет она будет вспоминать этот ясный день бабьего лета, когда что-то не удалось ей, на что она рассчитывала; она впервые вспомнит об этом дне, войдя с армией в освобожденную Прагу и фотографируясь в группе друзей-смершевцев на многолюдной, усыпанной цветами Вацлавской площади, сама уже в лейтенантских погонах, с орденом и медалями на груди; она изредка, но все острее и грустнее будет его вспоминать потом лет восемь, исполняя работу, для которой так много у нее *про-явилось вкуса*, что ее даже выдвинут в столичный *аппарат*; затем, когда надобность в ее ретивости несколько поубавится, и Зюечку выставляют за порог аппарата, и ей придется избегать встреч с таким множеством людей, что проще окажется уехать из Москвы, она будет вспоминать этот день все чаще и чаще в чужом для нее городе, верша

человеческие судьбы уже в ином качестве, — потому что вершить их составляет единственное ее призвание и потому что надо же куда-то приткнуть дебелую партийную бабенку, переспавшую со всеми инструкторами обкома, — поэтому в качестве расторопной хитрой судьи, ценимой за ее талант писать приговоры, полные птичьего щебета и совершенно бесспорные ввиду отсутствия в них какой бы то ни было логики; она его будет вспоминать — опустившейся бабищей, с изолганным, пустоглазым, опитым лицом, с отечными ногами, с задом, едва помещающимся в судейском кресле, — вот этот солнечный день на днепровском плацдарме и этого парня, первого ею погубленного, и однажды четко сформулирует: «Он был в меня влюблен!» — после чего ей все больше будет казаться, что между ними было тогда что-то настоящее, идеальное, кристально чистое, единожды даримое человеку в жизни, что парень этот был и остался ее единственной, хоть и неизреченной, любовью...

Зюечка поднялась на ноги и потянулась, едва не до хруста, всей стройной, тонкой фигуркой, выгнув стан, перетянутый офицерским ремнем с портупей.

— Мне пора, — сказала она, тряхнув прелестными пепельными локонами, свисавшими из-под пилотки спиральками. — Завтра опять встретимся, шифр надо согласовать. Сказал тебе майор?

— Говорил.

— Я кое-что там разработала, к завтраму закончу. У меня быстро освоишь. Да не боги горшки обжигают.

Он возвращался, сбитый с толку, с тревожной раздвоенностью в душе. Он думал о Зюечке с азартной самонадеянностью здорового парня — что наперекор всякой *работе* у них вполне может наметиться что-то другое, — и с опаской: как бы не сделать завтра какой-нибудь промах, не ступить уже ни на полшага в то зыбкое и пугающее, в чем она уже сильно погрязла и куда его тоже могло затянуть. Сохранить себя и ее вытащить — вот с чем он решил прийти к ней и объявить напрямик.

А назавтра — и случилось вот это, все преломившее: «Запрягай, Сиротин. В Москву!» Однако еще одна встреча была у них с майором Светлооковым — последним в армии, кого видел Сиротин и с кем говорил. Разогревая мотор, он разглядел неясное отражение в лобовом стекле и обернулся. Майор Светлооков стоял за его спиной, чуть поодаль, смотрел на него своим простодушным взглядом и легонько похлопывал себя прутиком по сапогу.

— Вот, отбываем, — сказал Сиротин, разведя руками, отчего-то виновато. — Выходит, служба наша кончается?

— Знаю, знаю, — ответил майор. — С богом, как говорится... А служба наша не кончается. Она начинается, но никогда не кончается.

Перебирая все это в памяти — сидя слева от генерала, во весь путь молчаливого и сумрачного, — Сиротин вдруг понял, с упавшим сердцем, что ведь, наверное, те разговоры в леске, у поваленной сосны, имели какое-то отношение к внезапному этому отъезду. И может быть, предупреди он генерала — который ведь был ему не чужее этого майора Светлоокова и чертовой этой Зюечки! — признайся он тогда же, генерал предпринял бы какие-то свои меры, и отъезда, во все для него не радостного, могло и не быть. Но вместе со своим признанием Сиротин представил себе удивленный и брезгливый взлет генеральских бровей и бьющий в лицо вопрос: «И ты согласился? Шпионить за мной согласился!» Чем было бы ответить? «Для вашего же сохранения»? А на это он: «Скажи лучше — для своего. О своей шкуре заботился!» И после этого — ничего Сиротин бы не сумел объяснить генералу.

Глядя на дорогу, летящую в забрызганное слякотью стекло, он постигал то, чего не успел постичь по молодости: так не бывает, чтоб кто бы то ни было, вызвавшись разгрузить часть нашей души, разделить бремя, другую ее часть не нагрузил бы еще тяжелей, не навалил бы еще большее бремя. И еще одно постигал водитель Сиротин, изъездивший тьму дорог: если пересеклись твои пути с интересами тайной службы, то, как бы ни вел ты себя, что бы ни говорил, какой бы малостью ни поступился, а никогда доволен собой не останешься.

2

И эта же Ставка совсем иной представлялась генеральскому адъютанту, так же мало знавшему о станции метро «Кировская». Дорога шла под уклон, к мостку через невидимый еще ручей, с обеих сторон бежали полосатые красно-белые столбики — крохотный уголок земли, по которому война прошлась безобидно, — а за обочиной выстроились коридором бежевые стволы тополей, и, наверное, в этот миг воображению майора Донского открывался коридор Ставки, по которому он проходил с генералом, — вот, как сидел, позади и левее. Тот коридор был широк и сумрачен, с высокими сводами и весь выстлан ковровой дорожкой, в которой тонул тяжкий переступ генеральских сапог, только чуть позвякивали шпоры. Ноги адъютанта, упиравшиеся в железный вибрирующий пол «виллиса», явственно

ощущали ворсистую мягкость той дорожки, трехцветной, как флаг неведомой республики, и мысленно он проходил по ней дважды: сначала — как генерал, посередине, наклонив голову, чтобы уж поэтому не кланяться знакомым встречным, а лишь бровями обозначать приветствие, — именно так ничего не ронялось из достоинства и покоряющей красоты, которой, что ни говори, исполнено поверженное могущество. А затем проходил и сам, шаг в шаг с генералом, не отдаваясь, чтоб это не выглядело отмежеванием. Ведь коридор полон глаз, офицеры из отделов и управлений показываются в бесчисленных дверях или пробегают мимо, прижав локтем папку с докладом. Не взглянуть на майора Донского они, естественно, не могут, и как же сильно они ему завидуют — его усталой, но и четкой походке, его полинялой гимнастерке с неяркими полевыми погонями, его утомленным, но и спокойным глазам, повидавшим все то, о чем они только вычитывают из сводок. Больше, пожалуй, и не нужно поводов для зависти — никаких орденов, ни даже колодок, только гвардейский знак, — но это ведь и не личная награда. Как-никак его судьба теперь зависит от них — штабных, тыловых, завидующих.

В приемной, обшитой дубовыми панелями и светло-зеленым линкрустом, вставал им навстречу величественный дежурный — не ниже полковника, — принимал от них личное оружие и сопроводительные документы, после чего генерал усаживался ждать в кресло, отворотясь к окну, адъютант же, которому здесь уже незачем было находиться, понятными жестами показывал дежурному, что отлучается в курилку, а тот кивал в ответ, что вызовет при надобности.

В тот же час, когда за двойными дверьми *того* кабинета решалась судьба генерала, решалась и адъютантская — в просторной белокафельной курилке, где, надо полагать, стильные полумягкие стулья вдоль стен и никелированные, на подставках, пепельницы — и еще одна общая, малахитовая, на огромном низком столе черного дерева, — и где совершенно не пахнет ни табачным дымом, ни близрасположенным сортиром и ровно гудит приточно-вытяжная вентиляция, не мешающая двоим-троим говорить вполголоса и так, что не обязательно слышно остальным. К этому часу следовало приготовить слова рассеянно-доброжелательные, улыбку сожалеющую и слегка ироничную, весь облик верного, исполнительного и знающего себе цену офицера для поручений, переживающего за ошибки начальства, но не так уж согласного за них отвечать своей карьерой. Не начинать разговора самому, ни о чем не спрашивать, но скромно войти, всем кивнуть глубоко и сесть отдельно или стать у окна — и не мо-

жет быть, чтоб не заметили, не завязали бы разговора с милым застенчивым фронтовиком, выживающим пожелтевшими заскорузлыми пальцами папирску из самодельного портсигара, на котором что-то интересное выколото сапожным шилом, а именно — скрещение штыка и пропеллера, перевитое гвардейской лентой, с надписью: «Давай закурим, товарищ, по одной!» — и пониже: «Будем в Берлине, Андрюша!» С портсигара только начать и тут же его упрятать смущенно — баловство, плод окопного безделья. И чутким ухом ловить вопросы, из них-то и выживая недостающие сведения насчет генерала, намеками, полувопросами дать понять, что готов принять братскую руку помощи, кто протянет ее — не пожалеет. Чего в принципе хотелось бы? Самостоятельности. Быть кем-то, а не при ком-то, осточертел этот горький хлеб. Конечно, остаться *здесь* он и не мечтает, хотя за ним кое-какой оперативный опыт, и если б взяли его поднастаскать... но нет, мечтать не приходится, скорее мечтал бы — *стать на бригаду*, не обижен был бы и полком. Чертовски трудна задача — и всего час на нее, на переустройство всей жизни. Когда вызывает дежурный и узнается наконец, что там решено с генералом, поздно будет что бы то ни было переигрывать, придется покориться решению, принятому без тебя.

Длинным ногам адъютанта было тесно за спинкой водительского сиденья, приходилось колени скашивать к борту, и левое, упершееся во влажный брезент, сильно холодило; казалось, слякоть просачивается сквозь галифе, и от этого, вместе с брезгливостью к себе, возникала обида на генерала — за то, что в своем грехе или в своей ошибке не принимал в расчет участь его, майора Донского, всегда вынужденного примащиваться обочь и позади генеральского кресла. Жгла в который раз досада, что засиделся на этом месте, засиделся в майорах, когда надо *делать свою игру*. Вспомнилось, кстати, как обошел его генерал наградою за форсирование Десны — и как еще обидно обошел! Он передал с Донским личные инструкции командиру батальона, оборонявшегося на плацдарме; инструкции эти нельзя было доверить рации и передать по проводу, который еще не протянули, но и везти их самому тоже не было надобности, хватало сообщить их любому расторопному офицеру, переправлявшемуся на тот берег; Донской, однако ж, их никому не доверил, а переправился сам на плоту, под чувствительным обстрелом, и втолковывал их батальонному, вконец замороженному и полуоглохшему, покуда тот их свяжно не повторил. Потом, в тихой прохладной избе, он рассказывал генералу, с легким юмором и не выделяя себя, каких мучений стоило несчастному батальонному стоять перед ним в полный рост в не-

## СОДЕРЖАНИЕ

ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ. Роман .....	5
ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ. Роман .....	367
ВЕРНЫЙ РУСЛАН. <i>История караульной собаки.</i> Повесть .....	729
НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ, МАЭСТРО <i>Рассказ для Генриха Бёлля</i> .....	849
ПУБЛИЦИСТИКА	
Новое следствие, приговор старый .....	891
«Когда массировал компетенцию...». <i>Ответ В. Богомолу</i> .....	905
Нужна «посадочная площадка». <i>Интервью журналу «Форум»</i> .....	940
Трагедия верного Руслана. <i>Интервью газете «Московские новости»</i> ..	964
Письмо Льву Аннинскому о «Верном Руслане» .....	970
Ответы на анкету журнала «Иностранная литература» .....	976
Вечер в Бостоне. <i>Ответы читателям</i> .....	981